

Аттестат

...И вот вошла. Откинув покрывало, Внимательно взглянула на меня. Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала Страницы Ада?» Ответает: «Я».

Анна Ахматова. «Муса», 1924

Пятилетний, в коротких штанишках на помочах, я шествую по Невскому. Рядом, конечно, должна шагать мама, мы всегда вдвоем: она посвящает мне все свободное от заработка время и даже то, что неизменно отведено третьей ипостаси — разности телеграмм. Тогда я, обняв утомленную шею, поблескиваю глазами с ее плеча.

Если я не оседлал маму, то рука моя должна храниться в ее ладони, но я ощущаю землю и свою незакрепленную кисть — где ты? Однако бедра женщины, которые обычно напывают на мое лицо, стремятся к равновесию значительно ниже линии горизонта — здесь что-то неладно.

Я внимательно вглядываюсь в асфальт, хотя желание мое — всмотреться в прохожих, но, зная, что единый взгляд толпы примагничен ко мне, я прижимаю подбородок к груди и зыркаю по сторонам...

— Не пиши от первого лица, — отмечая пренебрежение — не свое — читателя (она ранимее меня!), с кривой усмешкой наваливается на спинку кресла тетка. Рука ее стиснута коленями, ноги вибрируют.

Когда пальцы мои, нащупав клюкву, давили ее, лицо изображало муку, а после, когда рука подносила содеянное к глазам, я плакал.

— У тебя опять получится вопль, — осыпает волосы тетка: часть их заплетена в косички, отдельные участки завиты и — проседь, проседь. Ребенком я окрестил это империей...

Здесь было кафе: мать кормила пирожными, звучали сказки (непрерывно поучительные), официантка Тася, гардеробщик — инвалид с култей, замененной в будущем протезом, и улыбка его (улыбочка), и голос: «Видите...»

Я сидел на потертом стуле и прикидывал сумму, на которую потреблял: угощение качественнее общепитовского, но и дороже — его много. Появлению продуктов аккомпанирует табло калькулятора — оно люминисцирует, мне не избежать огненных цифр: два яйца, традиционно дстические, — тринадцать умножить на два получится двадцать шесть; в меню добавляю за варку и сервис, а подсовывают, убежден, по девять копеек, в столовой неизбежно минимум тридцать вместо восемнадцати, а это, считай, еще одно можно проглотить, да на три копейки хлеба, — или так: на копейку соли, на две — хлеба, соли, кстати, хватило бы на месяц, а с мучным тоже нечестно, буханку за четырнадцать копеек кромсают на двадцать кусков и каждый оленен в копейку, да еще начисляют по три копейки за два куска.

Я сидел на потертом стуле и вновь истязался испытанным ранее, когда мялся в очереди у стен кулиарин, мялся и читал судьбы. Когда мы двинулись неспетым строем, мне вдруг стало жутко всего, включая винтики на прилавке-холодильнике: фигурировала тоже оказалась причастна. Стало жаль себя, когда увидел все как оно есть на самом деле: пиратский глаз кассира, вдавленные, тройные, квадратные подбородки, куцые, будто об одной фаланге пальцы, сжавшие мешки полнетиленовые импортные с рекламной джинсов и автомобилей, кошелки холщовые отечественные с мочающимися голозадыми детьми...

Я не уверен, что не присутствую в данный момент в некоторых прельстивших взор знаниях. Я, смотрящий, придирчив: здесь изменить цвет и ликвидировать четвертый надстроенный этаж — он нарушает гармонию. Я, находящийся в домах, один и грустен: здесь кишит народ, бал, мне вроде бы весело, но я обманут, ее — нет, хотя стоящая — не она ли? Щурюсь, догоняю во внутреннем дворе (статуи, фонтан), останавливаю и изучаю — нет; здесь — ни души, я — затворник, мотается пес, таранит руку, это — апогей скорби, и я готов зарыться в собачью шерсть, но — нельзя, и вновь понимаю, что мне не пять, а близко к тридцати, и пока (надежда!) я не вывел категорию: мечтатель или неудачник.

* * *

Активно изучаю присутствующих. Это — две аспирантки, прижавшиеся к стойке у заветного окна; они читают допоздна, делают яблоко, спят вместе; асимметричный дилемант: покле-

вываст девиц («неплохо!»), перетасовывает бумаги, наслаждаясь не только укомплектованностью материала, но и проникая заодно в женскую физиологию; потряхивает ворохом (пошупывая аспиранток), снова перекладывает.

— Скажите, мне имеет смысл ждать? — громко и никому, пощелкивая пальцами над рабочим местом инспектора ОЗО.

— Есть право у человека в туалете отлучиться?! — басом (деланным) различается в неистовстве сирени (и это в самом сердце канцелярии!) опустошенное за ночь лицо.

В детстве я мечтал стать сумасшедшим — сумасшедшие не чувствуют боли. Жениться на медичке? Только не это! Я полагаю, что меня настолько угнетет медицинская практика супруги, что я не изыщу ресурсов для половой жизни. Второе место завоевала контролер метрополитена. Третье могла бы заслужить бюрократка.

Поживаю энергично, не позволяя усомниться ни людям, ни мебели, ни самому духу делопроизводства в своей бодрости и решимости.

Первой проникает пирамида бумаг, следом — очевидный усталый кадровик: «Кто бы пожалел?»

— Я за документами. — Стопы опережают голову, и мне легче.

— Студбилет, зачетку, читательский. — Сколько у тебя еще козырей?

— Нет. — Я уже не уверен, стояло ли тревожить безразличную мне жизнь отдела кадров.

— Из библиотеки — справку, из тридцать пятого — заявление с резолюцией Миневича о том, что у вас все потеряно. — И даже символика!

В коридоре — фотовыставка к юбилею института. Шагаю мимо, но глаза ищут и находят. Подхожу. Почему именно это? За все годы функционирования факультета при всем множестве студентов. Голова Давида. Петренко. Алла...

Сейчас я выскочу из квартиры, нажму на кнопку лифта, но не стану томииться — нет, пока он доберется, перепрыгивая ступеньки, я промчусь по лестнице черного хода, полав на девятый этаж, долечу до ее квартиры, вожу палец до боли в звонок и одержимо уставляюсь на дверь: очертания речи, догадка о поступи, дверь открывается, за дверью она, дальше, в глубь квартиры, на кухне — мать, и тоже смотрит, — четыре глаза изучают меня — я необычен: я как-то неловко поманю, вместе с нею шагнет мать, она тоже поймет, она вспомнит — так было, но остановится, закусит губу, улыбнется — мы все выразим

радость, я шепну: «Я хочу тебя! Я хочу с тобой...» — я опушу глаза, снова подыму их: «Пойдем к нам...»

— Ты — маньяк, — принимает ко мне Ирина и, дрожа, всаивается в шею: фиолетовая плазма переливается в нее.

— Как всегда, не о том, — перебираю невидимые локоны. — Мне ведь от них ничего не нужно...

Я все еще у стенда. Навстречу — человек, опираясь на палки с подлокотниками: ботинки различны, ноги при перемещении настаивают на своей автономии. Именно это я открыл тогда, когда глаза, части лица и фигуры зажали сами по себе. «Почему у тебя два носа?» И снова взгляд на пожелтевшую хроникеру: доцент, пустой стул. Да, я тогда вышел.

* * *

Река, словно поверженный парашют, не покоряется граммам паранета. Больше всего мне дорог сейчас пес: я обнимаю локматое тело, я успокаиваю зверя: преодолеем. К реке одержимо влечет, и, опустив пса, — он не убегает, он втирается в ноги, — я перевешиваюсь через гранит, — рыжое тело воды вскипает жилами, оно подобно карте, что на ней? Оно сокращается подобно клетке — мне не оторваться, зрелище манит: что под покровом, что за десант скрыт пеной? Волны как скалы. Неужели город гибнет? Накатывается вал. Я сгребая собаку и бегу, но куда? Здания закрыты, и за стеклами — никого. Никто не отогреет нам, и мы сгинем в бешенстве воды. Но кто там за дверьми — брат? Нет, не он. Это — я. Но все же ощущение братства. Ну, как же, я и я — конечно, мы самые родные друг другу. «Ну, что же ты, сколько можно, — с раздраженной заботой он, замыкая дверь, — Посмотри». Да, задержись мы на набережной — и все. «Что у тебя в сумке?» — он, не повернувшись. «Это собака», — я треплю присавившегося кобеля. «Ну, как хочешь». Он крутит головой — ну совершенно как брат, хотя это — я, допустим, я-двойник.

— Налево, — произношу я-двойник. — Я в ванную.

— Я тоже, — присоединяюсь я.

Забавно созерцать себя со стороны — наблюдаю, как раздается я-двойник. И тут до меня доходит: ведь я-двойник — малышка. Сколько ему — лет пятнадцать? Он вдруг кажется мне неимоверно несчастным. Жажда утешить ребенка столь велика, что я приближаюсь, но вдруг пное захватывает меня, и я:

— А как это случилось?

— Ты все испортил, — отмахиваясь от него.

Я-двойник пытаюсь открыть душ, но под рукой оказывается что-то иное из иного мира и иной ситуации. Я-двойник перевожу взгляд, уже вспоминая: это — занемелая рука покойника.

— В чем же моя вина? — недоумеваю я. — Ты сам открыл. — Но тут же ловлю себя на том, что, в общем-то, не в состоянии сообразить, где же я? Но наибольшая тревога за я-двойник, с ним-то что? Неужели все так, как мне почудилось? Как же спасти его? Я беру его за плечи, я шепчу:

— Неужели ты не можешь остаться? Неужели нельзя жить нам двоим?! — кричу я.

— Ты не понял? — шепчу я-двойник, коченея.

Я-двойник плачу. Руки, мои юные руки — мне не шевельнуть ими, они — мертвы, мне уже никогда ничего не сказать ему, он так и не поймет. Так и не...

* * *

«Заблудиться нужно уметь, это — дар», — утешая себя, все глубже забираясь по смутно знакомым лестницам на этажи, по ним сквозь двери, по коридорам — в неведомые кушью вуза, как вдруг, словно пробуждение — белый мрамор, зеркала — да-да! — и белый рояль...

— Ты где? — простирает руки жена, чувствуя меня, незримого. Чем все кончилось? ..

Из залы попадаю на лестничную площадку, спускаюсь по ступенькам, похлопывая черные с золотом перила.

— У тебя сколько людей? — спрашивает спина (я — сзади).

— Моих — восемьдесят, — голос из помещения. В нем свет и дым вуалью стелется наружу. Мощное лицо оборачивается. Мелкие глазки помаргивают. Красный значок. Молчание.

— Ну так что? — из никотиновой пелены. — На повестке вопрос с плотками.

— Сейчас, — производит шаг ко мне незнакомец.

«Ударить или убежать?» Последнее не от испуга, а от нежелания нарушать сюжет, навязанный не мною.

— Вам кого? — Это — ко мне. И новый шаг. Физиономия благополучна, как мичуринская антоновка в корзинке, — помню со школы: ботаника трясла невесомый (давала подержать) муляж, повторяя несколько удивленно: «Полтора килограмма».

— Я за документами, — я, не колеблясь.

— Вам завизировать? — он щелкает, словно кнопочным ножом, авторучкой.

— Модест, что там? — В проеме организуется набросок, и вот уже композиция из двух фигур: близкий к квадрату с фрунтами на плечах и тощий, словно пласт жвачки, возникший.

— Нет, я уже выбыл, — киваю, стремясь вниз.

— Выход перекрыт. — Нависает в пролете яблоны. И будто падает плод, с подкашливанием: — Тулик.

* * *

За сложной системой оргстекла и алюминия старушки проводят чаепитие. Каморка тесна, и реальность спорит с иллюстрацией: художник вроде бы шутит над героем, рисуя жилище меньшего его самого. Но так же как в представившейся картинке видимое убедительно и надежно, так и они: имеют продолжением руки плоскость стола, головы — ящик с ключами; сколько лет они просидят с блюдами? Различаю голоса: сплетничают. Им, наверное, невдомек, что лепет их слышен за пределами бытовки, во внешнем мире, где старческий гротеск ваяет пороки невестки, соседки, сменщицы, начальника «караула».

Заранее шевелю пальцами для привлечения внимания, подхожу и громко и вежливо, хотя уже вспомнил, как добратся, спрашиваю. Мы все улыбаемся, и та, что гадеробщица (по меркам как бублики на карем шнурке), объясняет. Ей, кажется, понятно, что она первой начала меня утешать.

Натешившись информацией, удаляюсь.

Бахтерша: Бродит, как Савич.

Гадеробщица: И каждый день.

Две реплики — два выстрела: обо мне? Возвращаюсь и, минув, бросаю взгляд: непрекращаемое чаепитие — пенсионерки так и сидят здесь до могилы, их сменяют другие, и Смерть, запутавшись в клиентуре, гадает: брала?

— Это и есть их захоронение, — шлепается на плечо человека со спичечный коробок.

— Постарайся понять: мне необходима целостность событий, такая, что ли, система от А до Я, иначе легко запутаться. Человечек: То есть свихнуться.

Я: Ты — Савич.

Он: Неостроумно. Хуже — пошло.

Я: Ну кто же знал. Прости.

Савич (шепотком): Хочешь жить сто лет?

Я: Двести.

Савич: Полтораста.

Я: Триста.

Он: Возьми.

Сворачиваю ладонь, выхожу во внутренний двор, размыкая изуродованные пальцы: конфета «каракум», сжимаю — пусто. На плече — цепчик от желудка.

* * *

Я убежден, что нынче сумею все завершить. Мне кажется, что я не слишком заметен. Зайдя в корпус, отсчитываю зигзаги, необходимые (как очереди, обеденные перерывы, минуты до открытия, минуты бездействия и молчания торговца) для достижения искомой двери. Я озяб и взмок мгновенно — представилось, что библиотека закрыта. Впрочем, тут же стало понятно, что мысль не сегодняшнего дня, и испуг мой обернулся шуткой.

С влажной спиной я слежу, как вычитаются из библиотечной части фигур стеллажами и столами, затем совокупляются в единое, как вдруг одна из девушек исчезает вовсе, а две другие, будто ведая мою точку зрения, замирают с изданием, листая. Представление это походит на графическую игру.

Привычно сутулюсь, но сейчас предполагаю, что здесь все должно протекать иначе — они многого не одобряют и не могут уподобляться тем, к кому попадают в зависимость вне этих стен, неопределенно пощипывая прилавки.

Я оцениваю, измеряю их, и это, сочетаясь с нераспрявленной спиной, рекомендует визитера как закомплексованного, преобразующего недуг в наглость.

Не смутясь отсутствием билета, Оля (ей подходит это имя?) штампует справку об отсутствии долга. Один — ноль!

Выхожу в коридор и тут же пропикаю в недра «киоска» — что в нем? Среди книг рассыпана и собрана бликами и тенями оконной рамы, решеток за окнами, ветвей и листьев, скользящих по стеклам, фигурки киоскерши. Разброшюровывает тиражи. Закованная в одежды, она смотрит на меня повелительно и зло, желая с ходу навязать свои идеалы. Но я не верю в созданный ею мир. Я сотворю свой. Да, не сейчас. Не сразу. Годы. Тысячи картин. Они навяжут мое мировоззрение миллионам. Я верю. У меня есть силы.

В коридоре — недавний должник библиотеки. Он — рассчитался. Читальный зал, кефир, жена-сокурсница, двадцать копеек, ступень. Или: стройотряд, сауна, водка, каратэ, халтура на кладбище. Или: родственник, собственное мнение, биография. Или — все вместе и что-то еще. Или — вообще другое? А?

Старается идти быстро, но не уступаю темпа и перего-

няю девушку (маньяк) с сеткой. В ней: книги, вязание, апельсины.

Девушка (да как же так?!) другая — вдоль забора, графини стройки. Я — широким шагом, через ступеньки, по лестнице, ведущей к дверям одного из корпусов, — но в него ни к чему, — и — вниз. Из-за колонны возникает девушка с сеткой, и почти рядом мы следуем до какой-то сугубо служебной двери, в которой канет. Кто там: страстный кочегар? Объятия в научно-фантастическом свете манометров под пересечением труб и арматуры. Взгляд на аквариум с рыбками (эритель!), взгляд «туда», стон. Торопливое поглощение принесенного пайка и его, истопника, многообещающее: «Больше не приходи». Постучаться?

* * *

Я навещал деканат раньше: не только в период учебы, а после, когда прекратил посещать факультет; интересовался, имею ли возможность возобновить занятия, отвечали — да, я удался. Когда я вновь визитировал институт, то «да» произнесла незнакомая девушка, экспозиция дипломных работ менялась, стены красились в другой цвет, дисциплины переезжали в новые аудитории.

— Что-то сегодня одни отчисленные, — обо мне и еще о ком-то, видимо о нем, — поворачиваюсь к блондину с красным лицом (должник библиотеки): что же с ним приключилось? Фамилля? Мнется, словно ему срок помочиться; привык прятаться от людей, напиваться и иногда, в особые дни, отлучаться назойливостью. Вместе экзаменовался. На сочинении шептал все слышнее и разборчивее: «Луч света!» Я могал головой и улыбался — забыл шпаргалки.

Блондин покашивается на холст, явно приглашая посмотреть: я заметил живопись при входе, как и все здесь, я лишь притворяюсь рассеянным. Да, это тот самый Озим. «Мой Узбекистан». Так что же, мы станем завидовать ему?

— Только осенью, — откладывает просьбу об академической справке девонка. Зачем мне такой документ? И, устало и величественно: — Этот товарищ мне два месяца надоедал.

Она печатает. Он мнется. Я выхожу.

В коридоре знакомство с дипломниками. Не торопясь (ролы!), изучаю работы, бормоча: «Дрянно, дрянно». Один холст мне вроде бы надо признать недурным, но я оцениваю лишь импульс, родивший его. И только.

У выхода (входа) — списки разнообразных должников, абитурантов, студентов, отправляемых в совхоз, пионерлагерь и пр. Когда-то в них...

Я — на площадке. В руке зачетка. Что это, слезы?

* * *

В фокусе сумка, опершаяся о ножку стола: «Я тоже не каменная!» — так, явно, восклицает, доказывая, имея, конечно, свои цели. Я понимаю ее сейчас, верю, открыв, — да ведь знал! — что и она спешит и нервничает, юлит, пресмыкается.

Не видно фигуры, и, поравнявшись с окном, опережая головой туловище, направляю лицо к бойнице, хотя, еще не открыв дверь, знал, что инспектор здесь — застыла с того времени, как я покинул приемную, и разморозится только теперь, когда загляну — ага! Смушена я, пожалуй, недовольна, только слежка, что даже странно близко к удовольствию — я пропал, чего-то не сообщив, может быть (мне страшно!) — не пообещав.

Незначительные слова и дальше — «Будет Стах!» Деталь! Столбенео. За стеклами, растрепанными текстом, что-то творится. Там — невидимая с трубкой в руке, далее — провод и некто, а где-то уже зарождаются буквы: рябой грузчик с гелматомой на виске, полновенный ценник, торгует свиными сардельками; птице дали полную, но она пока не улетает, а примостилась на дверце клетки, наклонив голову; девушка не решила — идти к зубному врачу или провести время в кинотеатре, не зная, где может случиться встреча; старик — умирает, и все это сгущается и распадается, пульсирует, рокошет (что добавит?), вершится ради апогея цикла: «Будет Стах!»

Должностное лицо обижено — я отвлекся.

— Потребуются паспорт. — Она не договаривает. Когда? В чем сейчас дело? Тем временем рука протягивает аттестат. Когда же она изловчилась вскарабкаться на антресоль за папкой с моим делом? Ведь не сейчас. Неужели? А если предположить, что не добыл ни справки, ни зачетки? Если построено, то что это такое?

Выходит и исчезает в дверях одного из отсеков. Что они все, приезжие? Работают ради поступления в вуз?

Или после окончания? — Распишитесь. — Я проследил приближение и то, как листки в руках вздрагивают вместе с грудями. Она — сексуальна. У нее — двойная жизнь. Ей это нравится. Первая сторона бытия, «инспекторская», оказывается (сладостная неожиданность, не ставшая привычкой) оплаченной в половой, потому как в ней происходит накопление для второй.

— Скажите, а можно мне получить официальную справку, что я у вас отучился? (У вас!) — Тарашу взор.

— Если вы хотите академическую с перечнем зачетных дисциплин, то нужен запрос, и вообще это реальнее осенью, сейчас (говори, продолжай, но только искренне, и я услышу нечто, да, именно теперь, в ряду никчемных построений: я не такой безумец!) наверняка ничего не добьешься.

— Да, это было бы здорово — получить такой документ. Да. — Взгляд, чувствую, чересчур наивен — перегнул — улыбаюсь. — А вот вы заместили насчет восстановления? — Поднята бровь. — Это осуществимо? — Бросаю в прорубь окна, замирая: обо что ударится фраза?

— Лучше всего обратиться в тридцать пятый кабинет и побеседуйте с Миневичем лично. У вас прошло, — слова достигли плотной среды, — более трех лет со времени отчисления, но если вы являетесь работником министерства просвещения, то им, как правило, идут навстречу.

— Нет. Не являюсь. — Время утекает сквозь беспомощные пальцы. Их искалеченность — не причина бездействия, лишь повод для оправданий. «Сколько я мог бы сделать», — отмечаю я формальной чертой бесплодность каждого года. «Я должен», — мне еще хватает дыхания на пустомельство.

— Что же вы не обратились раньше? — Что толку объяснять (и как?), что я прилетал и парил над корпусом, загадывая: там? нет, там. Как объяснить мое нахождение в классе, когда сокурсники первый раз работали маслом, — до чего забавно это выглядело? Можно справедливо заметить, что тогда я бился в горячке в тисках незаменимого Ганса — да, это происходило в то время. Но я не...

* * *

— Это не Миневич.

У меня вроде бы нет сомнений. Я прокрался тихо, к тому же он, развалился, слюнявил телефонную трубку, так что я возник внезапно и застал его врасплох. Неподготовленным жестом пытаюсь поправить что-то в воздухе. Это оказывается ни к чему, если иметь в виду меня, но он ощущает наличие еще и другого. Мне бы следовало зайти раньше — понимаю, — тогда бы констатировал действие и все в аудитории разыгралось бы точнее.

Беседа, я не в состоянии уразуметь, существует ли путь к реабилитации, и мыслямая черта после моего вопроса: «Как я могу восстановиться?» — «Да» или «Нет» — не проявляется.

Некоторое время воспринимаю сидящего проректором, ради

чего соединяю два абсолютно несхожих лица в единое: больше растягивается и оплывает физиономия исполняющего обязанности в пользу Миневича, потом же ошибка в личностях пресекается, он же, настороженно встретившись глазами, молвит: Я — не Миневич.

Не видя лучшего выхода, решаю вести себя эгоистично и, нечто тараторя, удаляюсь, но тутчас разворачиваюсь, как обруч, сжимая вопросительный знак:

— Так я могу восстановиться?

— Нет.

* * *

Когда город враждебен, я боюсь не добратся до дома, я боюсь, но город чинит препятствия, и я никак не могу добратся до своего дома.

Пожалуй, я вышел не туда, после сунулся не в ту подворотню и вышел не из предначертанной парадной на набережную. Булыжник и песок. Задницы плюющих в воду детей. «К всеобщей!» — чуть не завопил я, сообразив, что слышимое — перезвон колоколов. Глаз заметался: подворотня и ворота деревянные, бесконечно раз крашенные, — настезь, вросшие в асфальт, — им, огнедышам, заливали их; старуха, приклеенная вampirизмом к стеклу: платок и ... (чьего-то картина?), как барельеф, лепка стенная (ее не должно быть!).

Меня часто одолевали странные сновидения. Собака. Пес погнб много веков назад. Во всем виноват я. Он понесся за мной, и его перерезало трамваем. Когда транспорт приближался, мне казалось, это еще не финал. Мин повис у вечности. Ной вроде бы вырвался из-под колес. Можно ли было что-то исправить? Его словно затянуло в омут. Он выскочил или нет? Я не смог сообразить. Я понял, что слышу вой. Я заткнул уши. Я помчался проходными дворами. Я стал задыхаться и смешил бег на шаг. Я оказался у залива. Здесь мы купались с ним. Мы жгли (возьми себя в руки!) — я жег костры. Пес, что он представлял собой? Что он значил?

Я все помню. Людей. Дома. У меня было преимущество. Существовало два исхода. Он — там или — дома. В сумерках я появился из подворотни. Ной лежал между колес. Он — жив! Только не спешите, а то все испортите! Его не увлекло под колеса! Ну, может быть, задело, толкнуло. Да, это уж точно, но не столь страшно. Я приближался. Контур пса меняется,

Я — обманут! Песком засыпанные останки. Выбилась шерсть. Вьется. Мысль — откопать. Или просто окликнуть. Реанимация. Трансплантация. Что я?

Последующие дни преобладал смех. Повествуя о смерти, я выпендривался. И вот те же ворота, та же перспектива, может быть, тот же день. Может быть, Ной рядом и сегодня ничего не случится.

* * *

Брюки и кудри (я составляю тебя), этюдник, метафизически отяготивший плечо.

— Постоите, — начну я. — Постой. Я доверю тебе чью-то жизнь. Когда мать целовала его щеки, губки, ягодицы, подбрасывала, ловила, то же проделывал отец, и оба называли происходящее счастьем, то он, голенький, становился неожиданно задумчивым, и в глазах его маячило нечто, знание иного возраста, опыт зрелых лет, и родители, встретив мудрость, терялись, по инерции продолжая радость, но останавливались и созерцали его, размышляя: было ли у него что-то раньше? Трехлетний, он стоял на краю парашета и неотрывно следил за течением...

— О ком вы? — попытаешься ты вспомнить.

— Сейчас я не назову наверняка, но после, может быть, вспомню его точное имя.

Архитектура града еще просвечивает сквозь фигуру, но я уже ревную к размалеванным картонкам в фанерном коробе. — Да, но зачем? — попытаешься ты защититься от странных воспоминаний.

— Только не говори, не произноси слов, молю тебя, я попробую напомнить, как в детстве (было это?) орал от отчаяния, горя и злости, вождения, возможного и — утраты, утраты, — воздух хранил волнение и запах, глаза различали контур — она только что прошла, кажется, коснулась меня и, умилившись моей стряпне в песочнице, неуклюжим манипуляциям с железными формочками, призвала к иному. Юношей я заглядывался на египтянок, пил дешевое вино и пел с надрывом, стариком я мямлил: «Это еще не все, я еще встречу...»

— Это все нормально, — улыбается Ирина. Снисхождение и материнство, но по сути — другое: ее страшит скольжение по желобу — она видит, как тщето цепляются конечности обреченных: милая, она хочет обрести силу...

— Но дай мне вспомнить утро с пузырями солнца сквозь тучи, когда стриж, стремясь, отсек проводом крыло и, упав на гравий, бился... И вечер, когда предметом своей страсти

и выбрал огрызок газетной страницы с фрагментом: стиснутые кулачки прижаты к маленьким грудям, узкие трусики, неаккуратный лист, на выброс, верхняя часть лица отсутствует, только губы в упрёке кому-то, посягнувшему на беззащитность. Она сразу стала моей, я защищал ее от коварных преследователей и, израненный, молитвенно прощался с ней, избавленной.

— Так это была... — не выдерживая ты, сжимая мою руку.

— Ну, потерпи еще: я привык бродить, казалось, без цели, как сам считал вначале, по как-то понял — цель есть, нечто, не оформляемое речью, из бесчисленных составляющих чего были угаданные — луч, возглас и тянущееся — в листе, за поворотом, в окнах. Я тащился по раскаленной пустыне, там негде было укрыться от смертельного зноя, но, иссушенный и обезображенный ветрами и недугами, убедившись, что на планете для меня не существует ни клочка суши, проваливаясь в бездну, пробуренную водой в своей же массе, я немел, предчувствуя, и скоро убеждался, что за пеной в столбе брызг рождается радужный лик.

— Почему мы не побеседовали об этом раньше, — услышу я голос ушедшего Учителя и, после паузы, обниму тебя за плечи:

— Ты понимаешь, у меня нет ни одной картины маслом, но это, в сущности, не так: отсутствие их не абсолютное — они почти материализованы, хотя произнес и убедился: нет ни одной картины маслом.

— Но кто же ты? — резко восприняешь ты (этюдник стукнется о колонну Казанского собора: Невский так же гудит — что можем мы? Старуха на мосту хищно исследует ворох голубиных перьев: где же мякоть?).

— Ни разу нельзя обойтись без... — очнется критик.

— Я — пятилетний мальчик со змеиной головой: мольба и страсть — согрей и полюби, дай припасть к своему сердцу, и я уйду, оставив в тебе свой яд, но не предаю имя. Не назову.

— Почему ты стал таким? Мне жалко...

— Когда каждый кусочек моего тела был предан пороку, когда я не искал разврат, а бежал его, когда я просто бродил по кладбищу, когда, наступив на тень, я вспоминал, да, когда очертания случались похожими, когда любой эпизод... когда прозой и живописью становилось все видимое...

— Что же тогда? — спросишь ты, готовая слушать.

Виктор Кривулин

* * *

Поэт напишет о поэте.
Художник представляет нам
себя, в малиновом берете,
распахнутого зеркалам.

От легкости, с какой он дышит,
от грации, с какой парит,
я съезжился, я желт, я выжат,
я отдал кровь — а он царит.

Тону в любующемся взгляде:
я — это он, я — это свет,
но резкий, падающий сзади,
в затылок бьющий или вслед.

В лучах его второй природы
я только тень, я только вход
туда, где зеркало у входа,
где женщина, смывая годы,
ладонь по зеркалу ведет.

Песочные часы

То скученность, то скука — все тоска.
Что в одиночестве, что в толпах — все едино!
И если выпал звук — изменится ль картина
не Мира даже — нашего мирка?

И если ты ушел, бог ведаст в какую
хотя бы сторону — не то чтобы страну, —
кто вспомнит о тебе, так бережно тоскую,
как берег — по морскому дну.